

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 4. С. 158–183.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 4. P. 158–183.

Научная статья / Original article

УДК 1(091)

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-4-158-183

## РОЛЬ В. Г. БЕЛИНСКОГО В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДМЕТНОСТИ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА



**Ирина Федоровна Щербатова**

Институт философии Российской академии наук,  
Москва, Россия, ir.rius@gmail.com



**Аннотация.** В статье рассматривается роль Белинского как фигуры одновременно переходной и ключевой в процессе философско-литературного поиска нового содержания понятий «человек», «личность», «достоинство». Исторически этот процесс развертывался в ситуации продолжавшегося усиления государственного давления на общество, аксиологической девальвации дворянской культуры, а также стремительного распространения нового европейского националистического дискурса. Показано, что, несмотря на известную идейную переменчивость Белинского, фундаментально его базовые интуиции

© Щербатова И. Ф., 2023

и основной нарратив не менялись. Концептуально солидаризируясь с гуманизмом «писателей-аристократов», он искал новые модернистские формы его понимания и осуществления. Его требование реализма раскрывается одновременно как социальное расширение предметности гуманистических понятий и трансцендирование человеческого от внутреннего мира личности и ее замкнутого на себе достоинства к достоинству с опорой на активную социальную позицию, отражающую диалектическое единство индивида и нации в условиях роста национального самосознания. При этом также указаны и упрощающая сторона методологии реализма, и ее незавершенность, а именно тот ее открытый характер, который сделал Белинского не только переходной, но и последней значимой фигурой гуманистического универсализма, вслед за которой предложенные, в том числе и Белинским, понятия стали векторами узко направленной антропологии, быстро сформировавшими непримиримо враждовавшие идейные лагеря.



**Ключевые слова:** В. Г. Белинский, П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, гуманизм, личность, достоинство, общечеловеческое, национальное, аристократическая культура, эстетизм



**Ссылка для цитирования:** Щербатова И. Ф. Роль В. Г. Белинского в определении предметности гуманистических ценностей в условиях кризиса аристократического гуманитарного дискурса // *Философические письма. Русско-европейский диалог*. 2023. Т. 6, № 4. С. 158–183. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-4-158-183.

---

### *Memory of Culture*

#### THE ROLE OF V. G. BELINSKY IN DETERMINING THE OBJECTIVITY OF HUMANISTIC VALUES IN THE CONTEXT OF THE CRISIS OF ARISTOCRATIC HUMANITARIAN DISCOURSE

**Irina F. Shcherbatova**

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,  
Moscow, Russia, ir.rius@gmail.com



**Abstract.** The article examines the role of Belinsky as a figure both transitional and key in the process of philosophical and literary search for new content of the concepts of “man”, “personality”, “dignity”. Historically, this process unfolded

in a situation of continued strengthening of state pressure on society, the axiological devaluation of noble culture, as well as the rapid spread of a new European nationalist discourse. It is shown that, despite Belinsky's well-known ideological changeability, his basic intuitions and main narrative did not fundamentally change. Conceptually identifying with the humanism of the "aristocratic writers," he sought new modernist forms of its understanding and implementation. His demand for realism is revealed simultaneously as a social expansion of the objectivity of humanistic concepts and the transcendence of the human from the inner world of the individual and its self-contained dignity to dignity based on an active social position, reflecting the dialectical unity of the individual and the nation in conditions of growing national self-awareness. At the same time, both the simplifying side of the methodology of realism and its incompleteness are also indicated, namely its open nature, which made Belinsky not only a transitional, but also the last significant figure of humanistic universalism, after which the concepts proposed, including by Belinsky, became vectors narrowly focused anthropology, which quickly formed irreconcilably warring ideological camps.



**Keywords:** V. G. Belinsky, P. A. Vyazemsky, N. V. Gogol, F. M. Dostoevsky, humanism, personality, dignity, universal, national, aristocratic culture, aestheticism



**For citation:** Shcherbatova, I. F. (2023) "The role of V. G. Belinsky in determining the objectivity of humanistic values in the context of the crisis of aristocratic humanitarian discourse", *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(4), pp. 158–183. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-4-158-183.

---

Деятельность Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848) пришлась на десятилетие после смерти А. С. Пушкина, когда обнаружился кризис аристократической абстрактно-гуманистической культуры, проявившийся в запросе общества на отражение реальных проблем социальной жизни. Белинскому выпала роль быть если не первым, то наиболее ярким и харизматичным критиком писателей пушкинского круга, в творчестве которых, собственно, общечеловеческие ценности, генерировавшиеся дворянской культурой, отливались в художественные формы. Это были насколько возможно общие представления о человечности, нравственности или внутренней свободе, связанные с пониманием самоценности личности. Белинский включился в процесс понятийно-сущностного определения и универсализации общечеловеческих ценностей, до тех пор существовавших в интуитив-

ных этико-эстетических формах. Более того, это было счастливое совпадение личных убеждений и доступных возможностей: «Каждый месяц у него была возможность продвигать идею гуманизма перед всей Россией» [Малиа, 2010, с. 406].

В этом процессе Белинский сосредоточился на конкретизации не аксиологического аппарата гуманизма, но того еще весьма смутно ощущавшегося экзистенциального и всеобщего феномена, который следовало бы идентифицировать с личностью, уже обозначенной аристократической культурой. Критик выступил не против основных понятий аристократического гуманизма, он интуитивно верно определил главное его уязвимое место — имманентизм: элитарную закрытость высокого эстетизма, где личность обнаруживается в опыте самосознания через этико-эстетические и одновременно экзистенциальные понятия чести и достоинства. Их классицистический этический потенциал, ранее обозначавший нравственную глубину личностного эстетического развития, теперь уже не просто фундировал нравственное эстетическим, но и жестко ограничивал его теми формами художественного представления и соответствующего ему восприятия, которые все еще транслировала дворянская культура. Ее соотнесенность с Н. М. Карамзиным воспринималась Белинским как признак упадка: замыкание на собственных аристократических интересах без реального вовлечения нового — народного и национального — масштаба самосознания литературы, как и игнорирование объективных законов истории, которые с необходимостью включают в процесс самосознания нации все более широкие и глубокие (низовые) социальные круги. Упадок аристократической литературы для Белинского был почти тождественен упадку ее влияния и социального воздействия, снижению ее смысловой доступности для читателя на фоне стремительного устаревания эстетико-художественной формы. Но в то же самое время он никоим образом не связывал с этим те нравственные основания аристократической литературы, которые безусловно разделял: он принимал гуманизм, достоинство и личность, но делал иной вывод. Он подходил к тому, что необходимо трансцендирование вместо провозглашенной аристократической культурой имманентизации, то есть внешняя активность и социально-исторически-национально обусловленные формы ее и творчества вместо отвлеченных и сконцентрированных на себе, на внутренней свободе, на внеисторичности. В процессе преодоления имманентности абстрактного гуманизма Белинский интуитивно демократизировал, социализировал и антропологизировал дворянскую идею внесловного гуманизма и в конечном счете девальвировал ее. Это был все еще абстрактный гуманизм, но в развитии, в поиске реальной

своей предметности, основание которой Белинский связывал с национальным и общечеловеческим.

## I

Белинскому принадлежала едва ли не ведущая роль в формировании общественного самосознания в 1840-е годы. По словам Г. Г. Шпета, идеи Белинского «определяли настоящее содержание русского культурного сознания и предопределяли его будущее развитие» [Шпет, 2010, с. 370]. Данная оценка имеет особый вес, если учесть, что критика XIX века основной чертой Белинского называла «потребность доискаться нравственной истины, общественной справедливости и определения человеческого достоинства» [Пыпин, 1876, т. 2, с. 342]. В. В. Розанов писал о «всеобъемлющем, всемогущем» влиянии Белинского. «Лишь прочитав Белинского или вообще “вступив в сферу Белинского”, мы произносили торжественно и сладко: “Я человек”» [Розанов, 1995, с. 501]. Однако тот же автор предрек, что двухсотлетие Белинского будет праздноваться «с ощущением археологичности» [Розанов, 1995, с. 501]. Собственно, к этому все и шло: советская историография сумела так зацементировать революционно-демократическое реноме Белинского, что сделала его практически безнадёжной фигурой историко-философского дискурса.

Однако именно 2011 год подвел черту под догматически-идеологическим восприятием критика. А. А. Ермичев подверг сомнению правомерность привычного образа Белинского — «народного трибуна, атеиста, социалиста и революционера» [Ермичев, 2011, с. 11]. По его мнению, «центральной у Белинского была идея высокой и даже высочайшей ценности личности, идея гуманистическая, христианская и, если хотите, — персоналистическая» [Ермичев, 2011, с. 10]. Западная историография подобное понимание обнаружила на полвека раньше: М. Малиа рассматривал Белинского в числе первых, кто «с абсолютной непреклонностью стал утверждать идеал человека как самоцель, а свободную личность как цель, ради которой должно существовать общество» [Малиа, 2010, с. 566]. Подводя итог своего фундаментального исследования генезиса социалистических взглядов А. И. Герцена, Малиа сделал вывод, что Белинский так же, как и Герцен, пришел «к системе ценностей, универсализировав гуманизм довлеющей дворянской культуры» [Малиа, 2010, с. 566]: в этом состоит существо рассматриваемой в данной статье проблемы.

Современный взгляд на Белинского как на гуманиста возрождается уже на новом историческом витке. В конце XIX века политизация и догматизация роли Белинского, идущая от поздних идеологически обусловленных оценок

А. И. Герцена<sup>1</sup>, перекрыла оставленное ближайшим кругом друзей Белинского представление о нем как о нравоучителе-гуманисте и, поддержанная марксистской критикой Г. В. Плеханова и В. И. Ленина, неожиданно впитала «политический остракизм» [Ермичев, 2011, с. 9], которому подвергся Белинский со стороны «Вех». Для С. Н. Булгакова так же, как и для Н. А. Бердяева, Белинский — «духовный отец русской интеллигенции» [Вехи. Из глубины, 1991, с. 14, 37], иными словами, «идейный родоначальник большевизма» [Вехи. Из глубины, 1991, с. 254]. В то же время П. Б. Струве, по-видимому, оценивал роль Белинского иначе. В том же сборнике «Вехи» происхождение интеллигенции Струве логично связал с именами М. А. Бакунина и Н. Г. Чернышевского, противопоставив эту ветвь иной духовной традиции, представленной Н. И. Новиковым, Н. А. Радищевым и П. Я. Чаадаевым. Белинского ни к той, ни к другой традиции Струве не отнес. Возможно, он, подобно Б. Н. Чичерину, поместил Белинского в иной круг единомышленников: «В то время петербургские и московские литераторы составляли одно целое... Белинский, Краевский, Тургенев, Анненков, Панаев... Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения» [Чичерин, 2010, с. 157]. Именно просвещение, или просветительство, воспринимавшееся Белинским как миссия, представляет собой ключ к его антиномичному наследию, феномен которого принуждает к диалектическому расширению понятия «просветитель». П. В. Анненков, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, А. А. Краевский, И. С. Тургенев — этот тесный круг общения Белинского состоял из тех, кого принято относить к представителям консервативного дворянского либерализма, несмотря на всю половинчатость такого либерализма и специфичность этого термина. Если принять это как рабочую гипотезу, которая вряд ли пошатнет устоявшийся в истории отечественной мысли монолит левого радикализма Белинского, то тогда гуманистическая направленность его критики обретет некое методологическое основание. В этом плане показательным, что его «младший брат» по революционно-демократическому лагерю Чернышевский в обращении Белинского к «живым интересам действительности» находил не что иное, как смену эстетических критериев на этические: Белинский постепенно приходил к сознанию значимости рождаемой поэзией гуманности, «разумая под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека» [Чернышевский, 1947, с. 275].

<sup>1</sup> Примером вольных обобщений Герцена являются его воспоминания: «Мы возвратились в Москву авторитетами в двадцать пять лет. К нам примкнули Белинский, Грановский и Бакунин... Петрашевы были нашими меньшими братьями, как декабристы — старшими» [Герцен, 2003, с. 761].

Распространенный взгляд на Белинского как на представителя разночинной идеологии на деле вел к искажению существа основных ментальных процессов 1840-х годов, приписыванию им характеристик более позднего общественного развития. Беспрецедентная интеллектуальная насыщенность 1830–1840-х годов, сопровождавшая характерное напряжение процесса общественного самопознания, заставляет усомниться в правомерности расхожего взгляда на это время как на период идейно и идеологически целостный. Белинский, подобно интеллектуалам 1840-х, оказался именно в точке экзистенциального разлома аксиологических и историософских доктрин — нравственно отвлеченных к человеку вообще (и отсюда: общечеловеческому) и мессиански устремленных к конкретно человеческому (национальному, классовому и т. п.). Уходившее поколение арзамасцев, осмыслив крушение идеалов либеральной юности, замену им нашло в следовании исключительно нравственному императиву, что не мог не воспринять Белинский, современник Пушкина. Не случайно Достоевский, обвинявший критика во всех грехах, не мог не сказать о Белинском: «Он знал, что основа всему — начала нравственные» [Достоевский, 1972–1990, т. 21, с. 10]. Но в те же 1840-е годы новое поколение писателей во многом под влиянием Белинского смутно нащупывало иные идеалы человечности, которые породят совершенно иных акторов истории, лиц которых Белинский не то что не видел, но и представить не мог.

А. Н. Пыпин специфику этого десятилетия очень точно определил как переход от «общего гуманистического содержания» к содержанию национально-общественному, когда «самая критика оставляла теоретические отвлеченности чистого искусства для разработки общественного содержания» [Пыпин, 1876, т. 1, с. 5]. Однако укоренившаяся в истории общественной мысли традиция выделять как нечто содержательно целостное период 1840–1860-х годов, рассматривая его в качестве времени становления революционно-демократической идеологии, в наибольшей степени исказила историческую перспективу, в которой рассматривался Белинский. В результате плохо прочитанный мыслитель только за счет своего яркого облика разночинца-демократа стал идейной подпоркой Герцену и Чернышевскому, а тяготевшая к объективизму историография XIX века оказалась бессильна перед сложившимся мифом о Белинском-радикале. Помимо собственно идеологических нужд, стимулировавших воображение, подробная интерпретация Белинского основывалась на двух фразах Герцена и соответствующей трактовке «Письма Белинского Гоголю» 1847 года из Зальцбурга, в котором гуманистическое требование признания человеческого достоинства в отношении народа по мере дальнейшего нарастания проблемы крепостничества воспринималось в несвойственном

письму радикальном смысле. История бытования «Письма Белинского Гоголю» является классическим примером идеологической реконструкции — в течение двух веков в нем вычитывали то, что хотели видеть. Здесь стоит припомнить, что Достоевский был подвергнут гражданской казни за распространение этого письма. Отбыв каторгу и отсидев на нарах «Мертвого дома», он ушел от слезливого примитивизма и стал тем, кем стал, фактически благодаря «Письму Белинского к Гоголю», но никогда об этом не вспоминал.

Роль Достоевского в радикализации образа Белинского уже давно представляет собой отдельный и не только историографический сюжет. Их прижизненные отношения продолжались недолго. В 1845 году Белинский восторженно принял первое значительное произведение Достоевского — роман «Бедные люди», ввел молодого писателя, сделавшегося вмиг знаменитостью, в круг столичных литераторов, но примерно через год они разошлись, как заметил Достоевский в «Старых людях», по незначительному поводу. В феврале 1848 года Белинский написал П. В. Анненкову, что разочарован в Достоевском: «Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть “Хозяйка” — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя. Он и еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”. Надулись же вы, друг мой, с Достоевским — гением!»<sup>2</sup> [Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 467]. Но на этом обычные для писательской среды перипетии не закончились: в 1860-е годы Белинский — частый гость заметок и писем Достоевского, вначале добродушных. Например, в 1869 году он называет Белинского и Григорьева «замечательными критиками» [Достоевский, 1972–1990, т. 29, кн. 1, с. 16]. Однако в апреле 1871 года пишет Н. Н. Страхову: «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) именно был немогуч и бессилён талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда» [Достоевский, 1972–1990, т. 29, кн. 1, с. 208].

Пристрастность Достоевского очевидна. В это время он работал над «Бесами», сверхзадачей которых было показать ответственность либералов 1840-х в появлении нечаевщины. Критическое отношение писателя к «либералу»

<sup>2</sup> Впервые это письмо Достоевский мог прочесть у А. Н. Пыпина в 1875–1876 годах. В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский резко критикует В. Г. Авсеенко, который в рецензии на исследование Пыпина делает акцент на консервативной стороне мировоззрения Белинского: «У Белинского была правда и его заблуждение, а у вас и правда выходит заблуждением... Знайте, что Белинский прав, когда и виноват» [Достоевский, 1972–1990, т. 24, с. 185, 186, 454]. Реакция Достоевского, видевшего в интерпретации Авсеенко «унижение Белинского», свидетельствует о том, что феномен «либерал 40-х годов» был им к тому времени переосмыслен и принят, что было отражено в историософской концепции романа «Подросток».

воплощено в образе идеалиста Степана Верховенского, породившего «бесов»: Петр Верховенский — его сын, Николай Ставрогин — его воспитанник. На образ Степана Верховенского автор не пожалел красок презрения, сарказма, нескрываемого злорадства. Другой вопрос, почему в результате получился самый трогательный образ русского идеалиста? И еще непостижимее: не идеализм ли был оружием этого человека, «единственного, вступившего в идейную схватку с бесами»? [Кантор, 2010, с. 299]. Сейчас же важно отметить, что в черновиках писатель называл старшего Верховенского исключительно Грановским.

В романе «Бесы» Достоевский выносит русскому обществу фатальный диагноз: безответственность, в которой объективно-исторически виновата культурная беспочвенность высшего сословия, но субъективно виноваты дворяне-либералы 1840-х: именно их приверженность бессодержательным идеям и антинациональной риторике породила нигилизм. «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева» [Достоевский, 1972–1990, т. 29, кн. 1, с. 260]. Это объединение Белинского и Грановского весьма показательно для определения политической пристрастности и одновременно компетентности Достоевского, для которого Белинский — несомненный радикал и атеист, а Грановский, конечно же, нет, но Достоевский в презрении к характерному для обоих западничеству нарочито неразборчив.

Теоретически либерал-идеалист независимо от степени включенности в либеральный контент никак не мог породить нигилиста и террориста по причине того, что пренебрежение личностью, ее неотчуждаемыми правами противоречит первой и основополагающей заповеди либерализма. Феномен западника-либерала 1840-х остался для молодого Достоевского совершенно неопознанным объектом. Его изначально тянуло влево, к демократам; он ненадолго пересекся с Белинским и, очевидно закономерно, оказался у социалистов. А там гражданская казнь, ссылка, каторга, служба в Семипалатинске. Он как будто бы и современник, и дворянчик, но на дворянскую культуру смотрел классово-злобно, и уж точно не попадал в камертон прекраснодушных, благородных дворян-идеалистов. Вернувшись из ссылки, Достоевский пристально вглядывался в ту эпоху, изучал ее, но ее неприятие и враждебность теперь стали для него очевидны не на уровне эмоций, а глубоко идейно.

В мае 1871 года он писал Страхову:

Если б Белинский, Грановский и вся эта шушера поглядели теперь, то сказали бы: «Нет, мы не о том мечтали, нет, это уклонение; подождем еще, и явится свет, и воцарится прогресс, и человечество перестроится на здоровых началах и будет счастливо!»... Они до того были тупы... Я обругал Белинского более как

явление русской жизни, нежели лицо: это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Белинский помирился бы теперь на такой мысли: «...надо приискать такой народ, в котором нет ни капли национальности и который способен бить, как я, по щекам свою мать (Россию)». И с пеной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои, позоря Россию, отрицая великие явления ее (Пушкина), — чтоб окончательно сделать Россию вакантной нацией, способною стать во главе общечеловеческого дела. Иезуитизм и ложь наших передовых двигателей он принял бы со счастьем. Но вот что еще: Вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо него, неужели себя, тогда как мы так гадки. Нет, он никогда не задумался, над тем, что он сам гадок. Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость. Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и боже — как наврал о нем в своей поэтической статье Григорьев.

[Достоевский, 1972–1990, т. 29, кн. 1, с. 214]

Подобному накалу инвектив должна быть причина, здесь чувствуется что-то личное, что пока ускользает... На поверхности очевидное — работа над «Бесами» обнаружила идейно-причинную связь Белинского как западника с нигилизмом. Это открытие не могло не вызвать страшное раздражение, которое испытал Достоевский, видя, как его единомышленники, Страхов и Ап. Григорьев, весьма благосклонно отзываются о Белинском. Так, Григорьев довольно спокойно констатировал, что Белинский проводил «идею отвлеченного человечества» [Григорьев, 1980, с. 237]. Для Достоевского то, о чем говорил Григорьев, было «болезнью, обуявшей цивилизованных русских», в частности, он называет Белинского и на этот раз А. А. Краевского [Достоевский, 1970–1990, т. 29, кн. 1, с. 145]. Достоевский исходил из максимы: «Назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими» [Достоевский, 1970–1990, т. 29, кн. 1, с. 260]. Соответственно, Белинский и Грановский — те, кто отстаивал общечеловеческие ценности в противовес национальным, «позорили Россию» [Достоевский, 1970–1990, т. 29, кн. 1, с. 214].

Однако здесь Достоевский ошибался: в работе «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский сформулировал и в определенной степени развил концепцию диалектического единства национального и общечеловечес-

кого. До ареста Достоевский мог и не успеть прочесть обозрение Белинского 1846 года — что ничего не меняло, так как пересечение понятий «общечеловеческое» и «национальное» находилось еще вне сферы его интересов, тогда как в начале 1870-х он был одержим антизападничеством и верил в то, что либералы Белинский и Грановский ответственны за террор в России только потому, что они западники.

«Странные люди», помещенные в «Дневник писателя» за 1873 год, свидетельствуют все о той же пристрастности. Характеристика Белинского начинается со слов: «Белинский был вовсе не *gentilhomme*, — о нет. Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем» [Достоевский, 1970–1990, т. 21, с. 10], что было уже слишком, так как именно эти слова Достоевский мог сказать и о себе, но о себе он говорил так: «Я происходил из семейства русского и благочестивого» [Достоевский, 1970–1990, т. 21, с. 134]. Канва биографий Белинского и Достоевского поразительным образом совпадает: у обоих деда были сельскими священниками, отцы обоих, не окончив духовных семинарий, поступили в Санкт-Петербургскую военно-хирургическую академию (отец Белинского на пять лет раньше) и служили именно что «военными лекарями», и, дослужившись до чина коллежского асессора, оба получили потомственное дворянство (отец Достоевского на три года раньше, в 1827 году). Отличие было в том, что мать Достоевского происходила из купеческого рода, а Белинского — из обедневших дворян. Есть и определенная ирония в том, что И. С. Тургенев дал родителям Евгения Базарова, еще не террориста, но в определенной степени уже нигилиста, именно таких родителей — военного лекаря и столбовую дворянку. Однако явное передергивание фактов, которое позволил себе Достоевский, вынуждает с определенным скепсисом относиться и к его «цитированию» Белинского, смыслы которого относятся скорее к истории восприятия идей социализма самим Достоевским.

Все изменилось в 1875 году, когда Достоевский в (непостижимом для его эволюции) романе «Подросток» заменил «западник» на «европеец» и объявил просвещенного русского европейца солью земли. Поистине, «желая проклясть, благословил» [Кантор, 2010, с. 371]. Дальше больше. В 1875 году вышло в «Вестнике Европы», а в 1876 году отдельным изданием исследование Пыпина, основанное на письмах Белинского [Пыпин, 1876, т. 2, с. 105], где Достоевский мог прочесть письмо Белинского В. П. Боткину, в котором Белинский обращается к Гегелю:

Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора... Если бы мне и удалось влезть на верхнюю сту-

пень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моя.

[Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 22–23]

Впоследствии из этого родились знаменитые слова Ивана Карамазова о слезе ребенка.

Это письмо было написано Белинским 1 марта 1841 года. Принято думать, что радикализм Белинского развивался последовательно к середине-концу 1840-х годов. Примером революционности Белинского является следующий отрывок из другого его письма:

Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Какое имеет право подобный мне человек стать выше человечества, отделиться от него железною короною и пурпуровою мантиею?

[Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 52]

Однако между этими двумя письмами прошло всего четыре месяца. Обращение непосредственно к текстам Белинского, что досконально проделал А. А. Ермичев [Ермичев, 2014, с. 86–90], показывает, что идеологический фантом революционного демократа Белинского имеет слабое отношение к реальному положению дел. Как фактор иронии, свойственный Чаадаеву, подчас меняет смысл им написанного, так характерный для Белинского мгновенно вспыхивавший восторг неопита способен ввести исследователя в заблуждение. «Знаешь ли, что я теперешний болезненно ненавижу себя прошедшего»; «Год назад я думал диаметрально противоположно тому, как думаю теперь» [Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 23]; «Теперь я опять иной» [Белинский, 1953–1959, т. 3, с. 88]. Исследователи мировоззрения Белинского редко проходят мимо одного обстоятельства, одной яркой черты его личности — переменчивости. «Только из биографии его мы узнаем, в каком хаосе влияний билась все это время его неустойчивая мысль, как мучителен для него был выбор и как страстно было его подчинение всякому новому влиянию» [Шпет, 2010, с. 422]. Это свойство Белинского дало основание некоторым оппонентам, например Ю. Ф. Самарину, вообще отказать критику в самостоятельности, однако то была только форма

беспощадного бескомпромиссного поиска истины Белинским, в котором постепенное развертывание гуманистической предметности составило, тем не менее, сквозную сверхзадачу его поприща.

На сегодняшний момент реабилитация Белинского пришла к определенному рубежу, когда бесспорным является то, что «народническое возвышение крестьянства, скепсис к завоеваниям цивилизации, признание вины интеллигента перед народом, вера в общину были чужды Белинскому. Либеральное западничество считало Белинского своим предтечей» [Тихонова, 2010, с. 62–63]. При снятии реконструкторских искажений Белинский с очевидностью предстает характерным деятелем эпохи 1840-х годов с присущим им практическим использованием философии, с активно формирующейся историософией в ситуации истончения аристократической культуры, отстаивавшей паритет ценностей этики и эстетики. При этом идеализм остается основополагающей чертой мировоззрения Белинского. Новые социальные требования соответствия реальным запросам общества он предъявляет только литературе, ответственной, по его мнению, за формирование личности — именно в этом заключается отличие его эпохи от последующей.

## II

Дебют Белинского пришелся на 1830-е годы — это время вошло в историю мысли как период «эстетического гуманизма» [Зеньковский, 1991, с. 139], представленного творчеством писателей пушкинского круга. Они мыслили себя последователями Н. М. Карамзина и главной «неотъемлемой» своей чертой называли «природное, нравственное достоинство» [Вяземский, 1982, с. 112]. Основной творческий принцип, который они проводили: высокая эстетика и есть сама нравственность [Вяземский, 1984, с. 108].

Ко второй половине 1830-х обнаружилось, что ценности абстрактного, внесловного гуманизма, проводимые литературой «писателей-аристократов»<sup>3</sup>, не считывались обществом. Динамичные процессы, происходившие в ментальном пространстве, вели к тому, что само эстетическое быстро наполнялось и переполнялось обновленными смыслами, и общество стало предъявлять литературе иные требования, в первую очередь «быть верною действительности, которую взялась воспроизводить» [Белинский, 1953–1959, т. 10, с. 317]. В произведениях позднего Пушкина виделся упадок таланта («повести Белкина были ниже своего времени») [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 577]. Самое

---

<sup>3</sup> Авторство этого своего рода nickname, идентифицировавшего писателей пушкинского круга, принадлежало Н. А. Полевому [Пушкин, 1976, с. 474].

поразительное, что в этих оценках сходились как главный антагонист писателей пушкинского круга Ф. Булгарин, так и дочь Карамзина, изысканная Софья Николаевна, хозяйка престижного литературного салона. В июле 1836 года она написала брату о Пушкине, что его «ужасно и справедливо разбрал Булгарин, как светило, в полдень угасшее». «Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду» [Пушкин в воспоминаниях, 2005, с. 783].

Отмечавшийся читательский спрос на более простые литературные формы и сюжеты в определенной мере отражал невосприимчивость к неявным гуманистическим смыслам. Нельзя сказать, что к тому времени гуманизм прошел хотя бы начальные стадии своего развития, напротив, «даже к 1840 году, когда движению литературного гуманизма было не более двадцати лет, современники до сих пор не подозревали о его существовании в качестве традиции» [Малиа, 2010, с. 404].

За объяснимым спросом на облегченную литературу, подтвержденным огромными тиражами продукции Булгарина, стоял массовый читатель, вполне довольный прагматически житейским уровнем авантюрного жанра. Однако это был сигнал о необходимости как расширения сословного представительства читательской аудитории, так и включения в произведения героев из иных сред и сословий и соответственно раскрытия их интересов, мировосприятия, социальной проблематики. «Писатели-аристократы» лишь теоретически, может быть, соглашались соотнести этот прообраз третьего сословия с гуманистической предметностью. Их позицию позже довольно точно обрисовал Н. Г. Чернышевский:

Критик, который хочет говорить только о том, о чем интересно говорить для него самого, который хочет сохранить в своей деятельности столько же гордого спокойствия и достоинства, сколько сохраняет поэт или ученый, — такой критик пишет для немногих, Пушкин и его литературные друзья знали это; действуя на поприще критики, они и не хотели подчиняться условиям, несовместимым с их понятиями о собственном достоинстве; ...и гордо думали, что качества их слушателей вознаграждают за количество.

[Чернышевский, 1947, с. 134]

Без активного участия третьего сословия, что бы под этим тогда ни понималось, массовый читатель уже не был готов воспринимать никакие высокие смыслы. Можно сказать, появилось сословное чутье, сословное представительство в художественном тексте стало как бы общеобязательным — воз-

можно, потому даже дочь Карамзина перестала воспринимать сугубо аристократическое письмо. Белинский более чем почувствовал потребность иной литературы, у него в интуиции уже было заложено требование социальной правдивости, которое он называл реализмом, народностью и прочими схожими терминами, что, по сути, означало смену приоритетов: «Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени» [Белинский, 1953–1959, т. 6, с. 259]. Или: «Пафос Пушкина заключается в сфере самого искусства как искусства; пафос поэзии Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности» [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 36].

Белинский был буквально одержим свободой и независимостью личности: «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира»; «Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести»; «Я ненавижу общее, как надувателя и палача бедной человеческой личности» [Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 22, 51, 32]. Некая аллюзия прав человека, которую Белинский увидел в мятежной поэзии Лермонтова, совпала с его озабоченностью «нарождающимися определениями прав и обязанностей человека, проявлениями пытливого духа современности», того, что он до сих пор «не применял к русскому миру» [Анненков, 1977, с. 439]. Поэзия Лермонтова являла для Белинского крайне важный пример преодоления имманентизма путем включенности в общечеловеческий цивилизационный процесс.

Вмешательство Белинского в развитие литературного гуманизма постепенно разворачивало сложившуюся в аристократической культуре систему ценностей от эстетизма через понимание самоценности личности и человеческого достоинства — к личности, которая находит свою опору не в карамзинском чувстве внутренней свободы, а в осознании причастности к единым цивилизационным процессам. «Он пришел к заключению, что дело развития каждой отдельной личности, ищущей некоторой высоты и свободы для своей мысли, должно сопровождаться посильным участием в исследовании свойств и элементов того потока политических и социальных идей, в который брошены теперь цивилизация и культура Европы» [Анненков, 1977, с. 439–440].

Белинский обнаружил недостаточность пусть и высокого эстетизма и даже его некоторую вторичность по отношению к нравственным смыслам. Он конкретизировал, упрощал и переводил в понятийный язык практически то же, что предлагали писатели пушкинского круга, но понимал свою задачу (при-

ближение культуры к цивилизации, высокого — к обыденному, элитарного — к универсальному) слишком лапидарно: поиск дидактических форм становился поиском форм упрощающих. И главное, Белинский, сосредоточившись на методе художественного реализма, не предлагал системной методологии трансляции гуманистических идей, но вплотную подошел к ней в процессе теоретического анализа и критической интерпретации художественного нарратива, который представлял гуманистическую предметность реализма. В этом сказалось столкновение его собственной практически экзистенциальной диалектики согласия с культурной элитой по главнейшему пункту его деятельно-гуманистического мировоззрения и невозможности принять их особенный путь — медленной и постепенной эманации культуры как нравственности во все более глубокие слои общества. «Его волновало не только научное познание законов истории, сколько преодоление своего собственного, мучившего его отчуждения, приобщение к действительности, включение в жизнь нации, далекое от абстрактных, “строенных на воздухе” идеалов европеизированной гуманитарной интеллигенции» [Валицкий, 2019, с. 430]. Он понимал, что замыкание элиты на себе чревато эксцессами, подобными тому, что произошел с Гоголем. Как вспоминал Анненков, письмо Белинского Гоголю «обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования» [Анненков, 1977, с. 455].

Тотальное отсутствие понимания человеческого в Другом, отсутствие чувства человеческого как в сознании отдельных людей, так и в самосознании народа Белинский считал коренной социальной проблемой своего времени. Собственно, Белинский развертывал гуманистическое мировидение, в истоках которого находятся Новиков и Карамзин. Зеньковский заметил, что, начиная с Новикова и А. Н. Радищева, в центре русского гуманизма стоит «социальная проблема — проблема водворения подлинной человечности в жизненных отношениях» [Зеньковский, 1991, с. 95]. Восприимчики этой традиции А. С. Пушкин и П. А. Вяземский надеялись, что их полемические статьи будут способствовать формированию общественной нравственности [Пушкин, 1976, с. 288]. П. Я. Чаадаев считал главной задачей создание «общественной нравственности, которой у нас еще не имеется» [Чаадаев, 1991, с. 520]. Это было общее место культурного дискурса 1830-х. Белинский также видел, что большинство русских читателей «еще не обзавелось органом для понимания первых нравственных начал» [Анненков, 1977, с. 415]. Такие ценности, как независимость и достоинство, не только не могли быть массово считываемыми, но они и не могли быть массово востребованными, поскольку ни одна из сфер реальности не поддерживала и тем более не развивала независимость человека. Достоинству

после крушения классицистического мирозерцания еще только предстояло проявиться вновь, поскольку рождается оно на основе чувства соразмерности своей индивидуальности, ее вклада и места в социальной реальности.

Казус Гоголя ясно показал, что абстрактные гуманистические ценности, их смыслы, проводимые культурной элитой, для традиционного патерналистского общества по-прежнему оставались актуальными. Проект «писателей-аристократов», продолжателей дела Карамзина, представлял из себя нечто большее, чем просто культурный проект. Главная его идея самоценности и внесловной значимости человека, мыслимого как нравственная личность, составляла сущностный прорыв запечатленного самосознания культурной элиты, и было довольно близоруко свести все к чистому искусству. В терминологии П. Бурдье это был «символический капитал» — сплав высоких требований к эстетике и этике, в ближайшем раскладе маркирующий элитарность литературы, но который через какое-то время безоговорочно будет признан за эталон литературной классики в силу воспроизводимых ею общечеловеческих ценностей [Щербатова, 2021, с. 164–165]. Пушкин же волею Белинского перемещался в поле «чистого искусства». Сколько бы Белинский ни говорил, что признание Пушкина как классика еще впереди [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 579], определенная неразвитость его эстетического вкуса не давала ему за эстетикой Пушкина увидеть глубину мысли: «Поэзия Пушкина сознавала самое себя только как поэзию и чуждалась всяких интересов вне сферы искусства» [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 36].

...Пушкин — это художник по преимуществу... Это только лицевая сторона поэзии Пушкина: взгляните на нее с другой стороны, — и вас поразит ее объективность — качество... столь близкое к нравственному индифферентизму, отсутствие одного преобладающего убеждения, а иногда даже устарелость во мнениях и странные предрассудки. Таков необходимо должен быть (особенно в наше время) всякий художник, который только художник (т. е. вместе с тем не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени).

[Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 34–35]

Белинский обманулся тоном Пушкина. Как заметил Ап. Григорьев, «Пушкина-Белкина он положительно не понял: великий нравственный процесс, который породил это лицо... от него ускользнул, или, лучше сказать, заслонился от его зоркого ока нимбом теорий» [Григорьев, 1980, с. 141]. Пушкин был циркулем и отвесом русского самосознания, и его «выбраковка» показала, что приобрел и потерял Белинский и вместе с ним все общество в стремлении к

буквально понятому реализму. Другое дело, что «Белинский вовсе не был одинок в своем обращении от “чистого” искусства к тенденциозности, к тому, что называют у него “утилитарностью”» [Пыпин, 1876, т. 2, с. 356]. А. Н. Пыпин уточняет, что И. С. Тургенев, Д. В. Григорович и Достоевский, «разрабатывавший темы гоголевской “Шинели”, “Записок Сумасшедшего”, были с Белинским совершенно солидарны» [Пыпин, 1876, т. 2, с. 356].

Критические статьи и письма Белинского 1840-х годов выявили весь драматизм уходящего и так и не воспринятого абстрактного гуманизма, что вылилось в продолжительный идейный поединок Белинского и П. А. Вяземского. Надо сказать, что Белинский с самого начала не озаботился учтивостью и довольно бесцеремонно смахнул с поэтического поля тяготевшего к классицизму Вяземского как нечто отжившее и даже отказал ему в понимании литературного процесса: «Исключительные поклонники Пушкина, с ним вместе вышедшие на поприще жизни и под его влиянием образовавшиеся эстетически, уже резко отделяются от нового поколения своею закоснелостью и своею тупостью в деле разумения сменивших Пушкина корифеев русской литературы» [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 100].

Тем не менее именно Вяземский оставался единственным идейным защитником ценностей аристократического гуманизма, или, по его выражению, «коренных литературных начал», утверждавших «нравственное достоинство человека» [Вяземский, 1982, с. 173], что, по его мнению, прозвучало пока только у Пушкина. Здесь «нравственное» — это отчасти фрондирующая, но явно больше, чем только этическая или эстетическая категория, отражающая прежнее уже неактуальное абстрактно-гуманистическое видение человека. Вяземский требовал от литературы не обличения, а возвышения духа. Он был убежден, что эстетика низкого, проводимая натуральной школой, действует деструктивно на личность, способствует «литературному падению» [Вяземский, 1982, с. 171], и, судя по тому, что в избытке производила тогда натуральная школа, нельзя сказать, что князь был совершенно неправ. Вяземский справедливо утверждал, разбирая в письме Чаадаеву «Выбранные места из переписки» Гоголя, что в художественном отношении литература натуральной школы предлагала буквализм и упрощение гуманистических смыслов, опрощение без качественно новой формы, которая по-новому давала бы искомый нравственно-эстетический заряд. Соответственно, он не жалел желчи на отзывы о Белинском как идейном основателе натуральной школы, не замечая, что значимые для «писателей-аристократов» *личность* и *достоинство человека* стали теми маяками, которые выставил и Белинский тоже. Более того, некоторые высказывания Белинского начала 1840-х годов буквально воспроизводили главные

тезисы «писателей-аристократов»: «В искусстве что художественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, то может быть не безнравственно, но не может быть нравственно» [Белинский, 1953–1959, т. 3, с. 406–407].

В 1841 году Белинский писал Боткину: «Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни — гордость личности, неприкосновенность личного достоинства» [Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 52]. В 1846 году в статье о Пушкине современники Белинского могли прочесть: «К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека» [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 579]. Казалось бы, Белинский заставлял работать те жернова, которые не смогли сдвинуть «писатели-аристократы», однако, как ни парадоксально, он не был для Вяземского своим, и даже более того — всегда оставался врагом. Оба говорили, что целью литературы является человек, а главной ценностью — человеческое достоинство, но не слышали друг друга. На первый взгляд, это выглядело как поколенческий конфликт — противостояние и странное непонимание при равных основаниях и идеях. На самом деле спор шел об опоре личности — внутренней или внешней, — об основаниях личности и человеческого достоинства — субъективных или объективных. Для Белинского ключевым и исходным являлся поиск и определение предметности гуманизма, отличной от той, которую предлагали «писатели-аристократы». Причем отличие это как минимум двоякое: сословное и образно-понятийное, то есть отличие тех слагаемых, из которых складывается образ человеческого. Первое с очевидностью предполагало преодоление границ узко-элитарной культуры; последнее, сконцентрированное вокруг понятия достоинства, смысловой центр имело в свободе и независимости человека. У «писателей-аристократов» достоинство сущностно и генетически восходило к внутренней свободе, воспринятой Карамзиным через осмысление кантовского понимания достоинства. У Белинского это понятие уже имело иное, модерновое социально-антропологическое соотношение. Однако заостренная социальность его аналитики второй половины 1840-х годов создала предпосылки и сделала возможным уже в 1860-е годы распад абстрактного гуманизма на нигилизм и социально обусловленный гуманизм. Этот результат до сих пор не рассматривался как поражение Белинского, но именно так проблему преемственности идеалов 1840-х годов видел Пыпин, имея в виду, что поколение нигилистов 1860-х отвергло внесловный универсальный гуманизм, во что еще верил Белинский, предложив его антипод — «гуманизм по справедливости»:

В половине 50-х годов внешние обстоятельства в самом деле изменились (на известное время) чрезвычайно сильно против прежнего: люди «сороковых годов» во многом могли увидеть исполнение их надежд... Но... взаимное понимание сохранилось ненадолго и кончилось раздором, который уже вскоре, особенно под влиянием дальнейших обстоятельств, представился как вражда двух поколений.

[Пыпин, 1876, т. 2, с. 376]

Белинский во всех контекстах и во всей литературе, которую он единственно видел как бы практической философией, практической гуманистикой, разыскивал конкретизацию человеческого. Он высоко оценивал, например, сочинение Герцена «Кто виноват?» (тактично замечая, что в художественном отношении это далеко не шедевр) и относил Искандера к «поэтам гуманизма», которых вдохновляет «мысль о достоинстве человеческом» [Белинский, 1953–1959, т. 10, с. 320, 319], потому что тот давал портрет человеческого в человеке, и отмечал, что человек «во всей обширности этого слова, во всей святости его значения» являлся героем всех романов и повестей Герцена. В россыпи произведений новых авторов второй половины 1840-х (А. И. Герцена, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова) Белинский по-прежнему выделял фантом человеческого достоинства, но, к сожалению, в 1847 году, в самом начале разворота новой литературы, деятельность Белинского прекращается, а его творчество стремительно, как это не раз бывало, в глазах современников устаревает. В результате именно дискурс достоинства, на деле кантовский дискурс, предполагающий осознание в себе синтеза прав и обязанностей как человеческого существа в человеческом же обществе, остается вновь невостребованным. Соответственно, на эту почву быстро врываются новые современные идеи, по существу нигилистические, намечавшие дискурс ответственности, вины, возмездия. Гуманистическую этику, связавшую самостоятельность личности с ее трансцендированием, как и десятилетие назад аристократическую этику с ее имманентной опорой во внутренней свободе, накрывает волна сословно-антагонистического сознания, что является результатом постоянно усиливавшегося гнета дегуманизации. В этих условиях границы трансцендирования были существенно сужены и жестко контролировались. Трансцендирование личности как понятия (расширение ее предметности) и как экзистенции (расширение рамок ее собственной активности) было возможно лишь в цензурных формах, единственным модерновым из которых оказался дискурс народности, нации, национального и общечеловеческого. Именно он и определил главные смыслы интеллектуального поиска 1840–1850-х годов. Сопряжение в поздних

статьях Белинского теории художественного реализма и цивилизационно-националистического дискурса позволяет говорить о начале процесса формирования реалистической философско-литературной методологии.

Происхождение понятия общечеловеческого Белинский связывал не с дворянской культурой (как это делал Достоевский), а с цивилизацией как таковой, допуская, что это может быть не обязательно западная цивилизация. В одном из последних своих наиболее зрелых сочинений — в работе «Взгляд на русскую литературу 1846 года» — он писал:

Дело в том, что пора нам перестать казаться и начать быть, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешности принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно человеческое, и, на этом основании всё европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергией, как и всё азиатское, в чем нет человеческого.

[Белинский, 1953–1959, т. 10, с. 19]

В этом видится модернистское стремление Белинского на понятийном уровне вырваться из провинциальной приверженности западному локусу. Он призывал ориентироваться не на «европейские формы», а на содержание процессов, где бы они ни происходили, выделяя в них смысловой центр — «человеческое». С середины 1840-х годов Белинский по мере преодоления эстетического идеализма делает еще один прорыв в модерн — он связывает общечеловеческое с национальным:

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше, как риторическая фигура; но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы перерабатывать их силою собственной национальности в собственную сущность, — тогда он гибнет политически.

[Белинский, 1953–1959, т. 10, с. 29–30]

Белинский двигался от ценностей культуры к ценностям цивилизации, от внутренней свободы к национальному самоопределению, считал, что нация не противоречит и не противостоит отдельной личности, но они диалектически

едины. Сущность и жизнь общества определяются через национальную индивидуальность в общей совокупности или общем теле человечества. И здесь, по его собственному неожиданному признанию, он скорее был ближе славянофилам, которые, возможно, и преувеличивали фактор национальности и ее исключительности, но это было работающее понятие, чем к тем, кто, видимо, считал национальность проходящим, или несущественным, или мнимым моментом эволюции или состояния общества [Белинский, 1953–1959, т. 10, с. 29]. Это еще полуответ. Ответят при нем и после него славянофилы, демократы, нигилисты. Они все будут предлагать человеческое и национальное в своих собственных формулировках. Быть может, настоящий контекст Белинского вернет единожды только Достоевский, который снова сопряжет именно человеческое как проблему гуманистической предметности и цивилизационное как проблему национального и наднационального основания для понимания человеческого.

Весьма сбивчивый демократизм Белинского при убежденности в самоценности личности и человеческого достоинства, его апеллирование к абстрактному праву и к не менее абстрактному «общечеловеческому» как синониму цивилизованности — все это свидетельствует о далеко не типичной, скорее синкретичной позиции Белинского, тяготеющей к ценностям дворянского либерализма. Здесь же нельзя не сказать об упоминаемом современниками скепсисе Белинского в отношении роли народа, за что его друзья-либералы нередко упрекали. Это неверие в народ означало, что Белинский не мог быть единомышленником Герцена: их позиции частично совпадали во взглядах на европейский социализм, но Герцен был в те годы единственным, кто нашел способ применить это к России, создав теорию русского социализма [Малиа, 2010, с. 566]. Григорьев же «нисколько не скрываемое» отрицание Белинским «всяких сил самосущного развития народа» [Григорьев, 1980, с. 237] рассматривал как сущность западничества, но делал два принципиальных признания: во-первых, что «сила западничества заключалась в отрицании ложных форм народности» [Григорьев, 1980, с. 234], а во-вторых, в «славянстве и народности... Белинский видел препятствие ходу гуманной цивилизации. В общей схеме его философско-исторического мирозерцания народы и народности вообще играли переходную роль в отношении к отвлеченному идеалу человечества. Идеал этот имел для него реальное значение» [Григорьев, 1980, с. 267]. Здесь вопрос меры: «переходная роль» — это хотя бы не ничего, и все-таки Белинский был не так категоричен: «Теперь только слабые, ограниченные умы могут думать, что успехи человечности вредны успехам национальности» [Белинский, 1953–1959, т. 7, с. 45]. В этих расхождениях с Герценом и с Григорьевым обна-

руживается большая устойчивость позиции Белинского, обусловленная его общецивилизационным подходом.

Белинский представлял собой фигуру переходного времени, связующее звено между двумя периодами быстрой эволюции сознания образованной части общества, развивавшейся от абстрактной к узкоклассовой антропологии, но всегда одинаково активно эксплуатировавшей просвещенческий ресурс. С культурной элитой Белинского объединяло понимание универсальности идеалов человека и разума, выдвинутых Просвещением. Наследие Белинского при всех его эволюционно растянутых взаимоисключающих смыслах представляет собой пример просветительского мировоззрения, где главным являлся тезис о раскрепощенной духовной личности.

### Список источников

*Анненков П. В.* Из «Замечательного десятилетия». 1838–1848 // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников / под общ. ред. Н. К. Гея. М.: Художественная литература, 1977. С. 324–467.

*Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. 13 т.

В. Г. Белинский: pro et contra / сост., вступ. статья, коммент. А. А. Ермичева. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2011. 1168 с.

*Валицкий А.* В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 704 с.

Вехи. Из глубины / сост. и подгот. текста А. А. Яковлева. М.: Правда, 1991. 606 с.

*Вяземский П. А.* Сочинения в двух томах. М.: Художественная литература, 1982. Т. 2. 383 с.

*Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. 460 с.

*Герцен А. И.* Былое и думы. Исповедь. М.: Захаров, 2003. 976 с.

*Григорьев Ап.* Эстетика и критика. М.: Искусство, 1980. 496 с.

*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. 30 т.

*Ермичев А. А.* В. Г. Белинский: против стереотипов // В. Г. Белинский: pro et contra / сост., вступ. статья, коммент. А. А. Ермичева. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2011. С. 7–52.

*Ермичев А. А.* Имена и сюжеты русской философии. СПб.: Наука, 2014. 711 с.

*Зеньковский В. В.* История русской философии: в 2 т. Л.: «ЭГО», 1991. Т. 1, ч. 1. 222 с.

*Кантор В. К.* «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. 422 с.

Малиа М. Александр Иванович Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855. М.: Издательский Дом Территория будущего, 2010. 568 с.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 6. 508 с.

Пушкин в воспоминаниях современников / ред. Игорь Захаров. М.: Захаров, 2005. 920 с.

Пыпин А. Н. В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка: в 2 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. 2 т.

Розанов В. В. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. 734 с.

Тихонова Е. Ю. Виссарион Григорьевич Белинский // Белинский В. Г. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. С. 5–64.

Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: Наука, 1991. Т. 1. 800 с.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: ОГИЗ ГИХЛ, 1947. Т. 3. 884 с.

Чичерин Б. Н. Воспоминания: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. Т. 1. 496 с.

Шпет Г. Г. К вопросу о гегельянстве Белинского // Шпет Г. Г. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 369–457.

Щербатова И. Ф. К проблеме восприятия гуманистического идеала: неявные смыслы литературной полемики начала 1830-х годов // Общественный идеал как проблема русской философской и политической мысли. К 65-летию профессора А. А. Кара-Мурзы. Сборник научных статей / общ. ред. и сост. О. А. Жуковой и В. Л. Шаровой. М.: Аквилон, 2021. С. 157–175.

## References

Annenkov, P. V. (1977) “Iz «Zamechatel’nogo desyatiletiya». 1838–1848” [“From ‘A wonderful decade’. 1838–1848”], in Gey, N. K. (ed.) *V. G. Belinskii v vospominaniyakh sovremennikov* [*V. G. Belinsky in the memoirs of his contemporaries*]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, pp. 324–467.

Belinskii, V. G. (1953–1959) *Polnoe sobranie sochinenii: v 13 tomakh* [*Complete works: in 13 vols*]. Moscow: Izd-vo AN SSSR.

Ermichev, A. A. (ed.) (2011) *V. G. Belinskii: pro et contra*. St. Petersburg: Izd-vo Russkoi khristianskoi gumanitarnoi akademii.

Valitskii, A. (2019) *V krugu konservativnoi utopii. Struktura i metamorfozy russkogo slavyanofil’stva* [*In the circle of conservative utopia. Structure and metamorphosis Russian slavophilism*]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review].

Yakovlev, A. A. (ed.) (1991) *Vekhi. Iz glubiny* [Milestones. From the depth]. Moscow: Pravda.

Vyazemskii, P. A. (1982) *Sochineniya v dvukh tomakh. Tom 2* [Works: in 2 vols. Vol. 2]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

Vyazemskii, P. A. (1984) *Estetika i literaturnaya kritika* [Aesthetics and literary criticism]. Moscow: Iskusstvo.

Gertsen, A. I. (2003) *Byloe i dumy. Ispoved'* [Past and thoughts. Confession]. Moscow: Zakharov.

Grigor'ev, Ap. (1980) *Estetika i kritika* [Aesthetics and criticism]. Moscow: Iskusstvo.

Dostoevskii, F. M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh* [Complete works: in 30 vols]. Leningrad: Nauka.

Ermichev, A. A. (2011) “V. G. Belinskii: protiv stereotipov” [“V. G. Belinsky: against stereotypes”], in Ermichev, A. A. (ed.) *V. G. Belinskii: pro et contra*. St. Petersburg: Izd-vo Russkoi khristianskoi gumanitarnoi akademii, pp. 7–52.

Ermichev, A. A. (2014) *Imena i syuzhety russkoi filosofii* [Names and subjects of Russian philosophy]. St. Petersburg: Nauka.

Zen'kovskii, V. V. (1991) *Istoriya russkoi filosofii: v 2 tomakh. Tom 1, chast' 1* [History of Russian philosophy: in 2 vols. Vol. 1, Part 1]. Leningrad: «EGO».

Kantor, V. K. (2010) «Sudit' Bozh'yu tvar'». *Prorocheskii pafos Dostoevskogo. Ocherki* [“Judge God's creation”. Prophetic pathos of Dostoevsky. Essays]. Moscow: ROSSPEN.

Malia, M. (2010) *Aleksandr Ivanovich Gertsen i proiskhozhdenie russkogo sotsializma. 1812–1855* [Alexander Ivanovich Herzen and the origin of Russian socialism. 1812–1855]. Moscow: Izdatel'skii Dom Territoriya budushchego.

Pushkin, A. S. (1976) *Sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 6* [Collected works: in 10 vols. Vol. 6]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

Zakharov, Igor' (ed.) (2005) *Pushkin v vospominaniyakh sovremennikov* [Pushkin in the memoirs of contemporaries]. Moscow: Zakharov.

Pyпин, A. N. (1876) *V. G. Belinskii. Ego zhizn' i perepiska: v 2 tomakh* [V. G. Belinsky. His life and correspondence: in 2 vols]. St. Petersburg: Tipografiya M. M. Stasyulevicha.

Rozanov, V. V. (1995) *O pisatel'stve i pisatelyakh* [About writing and writers]. Moscow: Respublika.

Tikhonova, E. Yu. (2010) “Vissarion Grigor'evich Belinskii” [“Vissarion Grigorievich Belinsky”], in Belinskii, V. G. *Izbrannoe* [Selected works]. Moscow: ROSSPEN, pp. 5–64.

Chaadaev, P. Ya. (1991) *Polnoe sobranie sochinenii i izbrannye pis'ma: v 2 tomakh. Tom 1* [Complete works and selected letters: in 10 vols. Vol. 6]. Moscow: Nauka.

Chernyshevskii, N. G. (1947) *Polnoe sobranie sochinenii: v 15 tomakh. Tom 3* [Complete works: in 15 vols. Vol. 3]. Moscow: OGIZ GIKhL.

Chicherin, B. N. (2010) *Vospominaniya: v 2 tomakh. Tom 1* [*Memories: in 2 vols. Vol. 1*]. Moscow: Izd-vo im. Sabashnikovykh.

Shpet, G. G. (2010) “К вопросу о гегельянстве Белинского” [“On the question of Belinsky’s Hegelianism”], in Shpet, G. G. *Izbrannye trudy* [*Selected works*]. Moscow: ROSSPEN, pp. 369–457.

Shcherbatova, I. F. (2021) “К проблеме восприимчивости гуманистического идеала: неявные смыслы литературной полемики начала 1830-х годов” [“On the problem of perception of the humanistic ideal: implicit meanings of literary polemics of the early 1830s”], in Zhukova, O. A. and Sharova, V. L. (eds) *Obshchestvennyi ideal kak problema russkoi filosofskoi i politicheskoi mysli. K 65-letiyu professora A. A. Kara-Murzy. Sbornik nauchnykh statei* [*Social ideal as a problem of Russian philosophical and political thought. To the 65<sup>th</sup> anniversary of Professor A. A. Kara-Murza. Collection of scientific articles*]. Moscow: Akvilon, pp. 157–175.

---

**Информация об авторе:** Ирина Федоровна Щербатова — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

**Information about the author:** Irina F. Shcherbatova — PhD in Philosophy, Senior Research Fellow at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.10.2023;  
одобрена после рецензирования 01.12.2023;  
принята к публикации 10.12.2023.

The article was submitted 10.10.2023;  
approved after reviewing 01.12.2023;  
accepted for publication 10.12.2023.